

МОНЕТА ИЛИ БЕЛКА?

(К толкованию одного „темного места“
в „Повести временных лет“)

Б. СИНОЧКИНА

В „Повести временных лет“ под 6367 г. помещено сообщение, толкуя которое уже много лет ломают копыя филологи и историки. В Лаврентьевской летописи оно звучит так: Имаху дань Варязи изъ заморья. на Чюди и на Словѣнх. на Мери. и на всѣхъ Кривичѣхъ. а Козари имаху на Полянѣх. И на Сѣверѣхъ и на Вятичѣхъ. имаху *по бѣлѣ и вѣверицѣ* от дыма (Л., I, 19)¹. Писанный сплошным потоком текст рукописи допускает в данном случае два членения: *по бѣлѣ и вѣверицѣ* или *по бѣлѣи вѣверицѣ*. С точки зрения древнерусского языка допустимы оба прочтения текста. Оба варианта имеют своих сторонников². В зависимости же от выбранного членения текст обычно понимают либо как „по металлической монете и шкурке белки“, либо „по шкурке белой (т.е. зимней) белки“, что далеко не одно и то же³. Другие летописи демонстрируют в передаче этого сообщения полнейший разнобой. Ср.: *по бѣлѣ. и вѣверици* (Ип., II, 14); *по бѣле верецѣ* (1497, XXVIII, 13); *по бѣле верице* (1518, XXVIII, 167); *по бѣлѣ* (Рог., XV, 11). В ряде северных и северозападных по происхождению летописей появляется еще и термин *вѣкъшица*: Имаху дань Варяги... на Словянехъ, и на Чюди, и на Мери, и на всѣхъ Кривичехъ отъ мужа *по бѣлѣи веверичѣ*, а на Козарехъ и на Полянехъ, и на Сѣвирианехъ, и на Вятичахъ *по бѣлѣи векищѣ* съ дымом (Пск.-1, IV, 173). *По бѣлѣ вѣверицѣ* с одних племен и *по бѣлѣ вѣкъшицѣ* с других взимается дань в сообщениях Софийской первой летописи (Соф.-1, V, 88), в Тверском сборнике (Тверск. сб., XV, 29), Никаноровской летописи (Ник., XXVII, 18). Во Владимирском летописце читаем: *по бѣлки съ дыма и по вѣверици* (Вл., XXX, 14).

Особенно ценным для нас является написание Ипатьевской летописи, где точка после слов *по бѣлѣ* показывает, что автор списка читал это спорное

¹ Летописный материал, кроме особо оговоренных случаев, цитируется по Полному собранию русских летописей (ПСРЛ). Римская цифра в скобках указывает том настоящего издания, арабская — страницу. Условные обозначения летописей и выходные данные см. в конце статьи. Графика памятников упрощена, титла раскрыты, выносные буквы внесены в строку.

² Так, Д. С. Лихачев придерживается 1-го чтения. См. изданную под его редакцией „Повесть временных лет“ (сер. „Литературные памятники“, 1950). Так же читал текст и Б. Д. Греков (Греков Б. Д. Киевская Русь. М.—Л., 1949, с. 37). Ф. П. Филин разделяет иное мнение (Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972, с. 559).

³ О принципиальной важности правильного прочтения и толкования данного текста см.: Лихачев Д. С. Текстология. М.—Л., 1962, с. 142.

место как сочетание двух существительных. Н. В. Чурмаева, посвятившая данной проблеме специальную статью, приводит этот аргумент, а также тот факт, что форма прилагательного была бы краткой, если бы речь шла о „белой веверице“, как доказательство правильности первого прочтения⁴. Однако исследователь констатирует, что данное более оправданное по ряду причин прочтение текста вызывает трудности с переводом, ибо дань „по (серебряной) монете и по шкурке белки“ представляется чрезмерно тяжелой.

Трудность эта, однако, мнимая. Читая текст *по бѣлѣ и въверицѣ*, исследователи (в свете современных норм семантико-синтаксических отношений) непрерывно предполагают реализацию в тексте несовпадающих лексико-семантических вариантов многозначных слов-синонимов, не учитывая возможности одновременного употребления единиц идентичного значения для выражения одного понятия. Действительно, в современном русском языке постановка рядом двух или более синонимов требует, чтобы каждый последующий синоним нес новую логическую или экспрессивную информацию. Сочетания, не удовлетворяющие этому требованию, расцениваются как ненужный плеоназм, не говоря уже о том, что объединение равнозначных или предельно близких по значению слов сочинительными союзами вообще немислимо в нашей речи.

Однако то, что представляется сейчас неоправданной избыточностью выражения, могло быть необходимым и нормальным при другом соотношении элементов лексико-семантической системы, иных выразительных возможностях языка, в условиях литературных вкусов и традиций, отличных от современных. Трактовка же лингвистических явлений минувшей эпохи с высоты современного языкового сознания неизбежно влечет за собой неверные выводы.

Так, обращение к летописным текстам показывает, что древние книжники свободно употребляли сразу два равнозначных (или предельно близкозначных) слова для номинации одного понятия⁵. Ср.: а се полкъ мой и дружину мою *ряди и вѣдои* (М., XXV, 59); *вси желеающе и хотяще* великого княжения Киевского (Н., IX, 204); великий же князь Димитрий едва *уведа и услыша* о сем, и начат воинство собирати (Там же, 89); по цареву *вельнику и приговору* (Леб., XXIX, 225); *выспрь и върхъ* украсень звѣздами златыми (Ип., II, 843); созда же църковь святого Ивана *красну и лѣпу* (Там же); над ними же венцы з *драгим и многоценным* каменiem (Зол., XXXI, 218); и стаща *около* всего града *въкругъ* (М., XXV, 190); се же бысть *чюдно и дивно* (Ип., II, 185).

Чем же вызвана подобная тавтология? Случайные ли это факты речевой небрежности — следствие стилевой нетребовательности или же мы имеем дело с явлением закономерным, причинно-обусловленным определенным состоянием лексико-семантической системы и преследующим конкретные выразительные цели?

⁴ См.: Чурмаева Н. В. О беле и веверице. — В кн. Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. Сб. ст. к 80-летию С. Г. Бархударова. М., 1974.

⁵ Подробнее о способах объединения синонимичных слов (либо их функциональных эквивалентов) и структурных разновидностях синонимических сочетаний см.: Синючкина Б. Принципы выделения синонимических пар в древнерусском тексте и характер семантических отношений компонентов пары. — „Вестник Белгосунверситета“, 1975, сер. IV, № 2.

При анализе синонимических пар в русских летописях невольно обращает на себя внимание тот факт, что плеонастической передаче подвержены в первую очередь понятия отвлеченные, не соотносимые с конкретными предметами и действиями реального мира. Объемы таких понятий, не связанных с вещественными денотатами, часто довольно неопределенны, а границы с понятиями смежными — зыбки. Существенный признак понятия может характеризоваться различной степенью присутствия, колеблясь в каких-то пределах, за которыми стоят уже другие, хотя и близкие, понятия.

Так, многочисленные синонимы в самых разнообразных сочетаниях передают в совокупности понятия, связанные с психической деятельностью человека: эмоциями и побуждениями, а также сенсорным восприятием и мышлением (как в субстантивном, так и в процессуальном выражении).

Синонимические пары могут передавать чувство радости: *радость и веселие* (Н., IX, 70)⁶, *радоватися и веселитися* (Лет.нач.ц., XXIX, 115); горя, печали: *печаль и болѣзнь* (Там же, 77), *скорбь и болѣзнь* (Ц.кн., XIII, 410), *трудъ и печаль* (Н., IX, 12), *скорбь и туга* (Ип., II, 645), *туга и печаль* (М., XXV, 174), *скорбь и печаль* (Ип., II, 223), *сѣтование и скорбѣние* (Н., XI, 217), *тужити и скорбѣти* (Маз., XXXI, 89), *скорбѣти и сѣтовати* (Н., XI, 55), *скорбѣти и печаловати* (Н., XI, 147) и т.п. Синонимические пары называют чувство гнева: *гнѣвъ и ярость* (Ип., II, 614), *сердце и ярость* (Н., X, 72), *сверѣпство и гнѣвъ* (Там же, 96), *гнѣв и опала* (Лет.нач.ц., XXIX, 22), *гнѣватися и яритися* (Н., XI, 68), *разъяритися и разсверѣпети* (Н., X, 72); страха: *нехрабрѣство и страхование* (Н., XIII, 98), *недоумѣние и страхъ* (Н., X, 112), *мѣние и страхъ* (Ал.-Н., XXIX, 130), *ужасъ и страхъ* (Н., XI, 28), *страхъ и трепетъ* (1619, XXXI, 194), *трепетъ и ужасъ* (Н., IX, 243), *пополохъ и ужасъ* (Н., IX, 164), *страхъ и боязнь* (М., XXV, 261), *страхъ и гроза* (Там же, 148), *не убоятися ни устрашитися* (М., XXV, 203), *не убоятися ни усумнѣтися* (Там же), *боятися и трепетати* (Там же, 205), *ужаснутися и устрашитися* (Н., IX, 196), *устрашитися и вострепетати* (Н., XI, 217), *ужаснутися и вострепетати* (Н., XI, 161), *возмѣятися и устрашитися* (Там же, 207), *смутитися и ужаснутися* (Н., XI, 125), *переполошитися и устрашитися* (Ник., XXVII, 82).

Не менее разнообразны и синонимические пары, обозначающие внешнее проявление эмоционального состояния, например, горя: *воплъ и кричание* (Маз., XXXI, 59), *воплъ и крик* (Ник., XXVII, 79), *плачь и кричание* (М., XXV, 145), *плачь и вопль* (Ип., II, 193), *воплъ и рыдание* (Маз., XXXI, 75), *плачь и рыдание* (Н., X, 103), *кричати и вѣпити* (Н., IX, 66), *плакати и вопити* (Н., XI, 57), *вопити и рыдати* (Лев., XXIX, 271), *плакати и рыдати* (Ал.-Н., XXIX, 127), *плакати и слезити* (Н., XI, 61) и т.д.

Лексика, называющая вызванные определенными эмоциями действия и состояния, отличается большей конкретностью по сравнению с лексикой, обозначающей сами эмоции, уже в силу внешней выраженности, наблюдаемости называемых действий и состояний. Однако с лексикой абстрактной ее сближает широко трактуемый характер этих комплексных действий (напр.,

⁶ Не ставя себе цель перечислить все многочисленные случаи употребления пар в летописях, приводим ссылку на источник лишь с тем, чтобы оправдать данный порядок следования компонентов пары и орфографию.

рыдание — это и слезы, и стоны, и причитания, и определенная жестикуляция и т.д.) с очень широким диапазоном интенсивности, включающим целую гамму оттенков. Кроме того, летописца редко занимают чувства, в частности скорбь, отдельного человека и их проявления: обычно летописи повествуют о бедствиях всенародных, и выражение горя приобретает не конкретный, а гиперболически-обобщенный характер. Ср.: И бысть кричание, и вопль и плачь велии во градъ (Н., X, 108). Не бе же звону, но вместо радости плачь и рыдание, и вопль много (Маз., XXXI, 70). Бяше видѣти тогда во градъ плач и рыдание, и вопль многъ, и крикъ, и слезы неутѣшимы (Ник., XXVII, 79). Много же бысть слезъ, плачь и рыдание во всѣхъ людехъ (Ц. кн., XIII, 416). И бысть въ веселиа мѣсто плачь великъ и люто рыдание (Н., X, 103).

Потребность поведать глубину чувства, интенсивность его проявления, с одной стороны, и наличие в языке большого количества называющих одно и то же чувство лексем, семантические различия между которыми подчас трудно уловимы (множественность номинации вызвана самой природой этих сложнейших психических явлений), и обеспечили в данном случае появление в речи синонимических пар — экспрессивного средства выражения понятия.

Сила чувства, названного не просто словом, а комбинацией двух (или более) близкозначных слов, интенсивность его проявления нередко еще раз подчеркиваются эксплицитно. Ср.: и бысть скорбь и туга *люта* (Ип., II, 645); и весь народ плачуще и рыдающе *горко* (Ал.-Н., XXIX, 127); вездъ же крикъ и вопъ *страшенъ* бываше (Н., XI, 77); проплака *зѣло* и прослезися (Н., XI, 57); съ страхомъ и боязнию *многотою* (М., XXV, 26); в *великом* страсе... и во ужасе (Маз., XXXI, 87); *тмократно* разгнѣвахомъ и озлобихомъ (Н., XII, 83).

Силенъ, великъ, страшенъ, лютъ, золь, многъ и т.д. — все это синонимы с общим значением „сильный по характеру своего проявления“⁷. Слова эти реализуют в первую очередь не свое логическое значение, а экспрессивное. Так, *страшенъ* не обязательно значит „внушающий страх“, а *силенъ* — „исполненный силы“ — вне зависимости от конкретной семантики слова эти могут подчеркивать самое существенное в изображаемом предмете, явлении: величину, размах, численность и т.д. Ср.: на утрѣ же день устрои Юрьи обедъ *силенъ* (М., XXV, 39); и приведе полон в Русскую землю, толь *силно*, яко и числа нѣту (Ник., XXVII, 33). В разнообразных сочетаниях данные прилагательные также образуют синонимические пары для передачи высшей степени наличия существенного признака, качества. Ср.: бысть гром *великъ* и *силенъ* (Н., IX, 82); и бысть гром *великъ* и *страшенъ* (М., XXV, 233); был мор на люди *великъ* и *силенъ* (Вл., XXX, 113); и во всѣ грады разидеса моръ *силенъ* и *страшенъ* (Н., XI, 3).

Таким образом, назначение синонимической пары — усилить, акцентировать выражаемое значение при передаче явлений, для которых характерна градация, различная степень проявления существенного признака. При этом не столь важно, какими языковыми средствами это усиление достигается,

⁷ См. подробнее об этом: Михайловская Н. Г. Синонимические прилагательные со значением „сильный по характеру своего проявления“ в древнерусском языке XI—XIV вв. — В кн.: Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964.

какие лексические ресурсы используются при построении синонимических пар. Так, в паре *пополохъ и ужасъ* (Н., IX, 164), например, второе слово — литературное, общерусское, в то время как первое — диалектизм, известный ряду севернорусских и южнорусских говоров. В паре *скорбь и туга* (Н., XI, 85) слово *туга* для XVI в. уже архаично, тогда как лексема *скорбь* находится в активном запасе. Но подобные различия, интересные сами по себе, не являются определяющими при образовании рассмотренных выше синонимических пар: летописец в данном случае руководствовался не свойствами слов, а требованиями речевой экспрессии, черпая из имеющегося в его распоряжении словарного запаса лексемы необходимого значения, чтобы, по-разному назвав одно и то же, сделать весомее высказывание.

Однако назначение синонимических пар в древней письменности не исчерпывается лишь подобным применением, а при ином их использовании место слова в лексико-семантической системе языка может играть решающую роль и являться непосредственной причиной парного употребления слов. Как известно, лексика древнерусского языка отличалась чрезвычайно развитой многозначностью. Так, лексика, отражающая душевный мир человека, называла когда-то явления физические, и совмещение значений досталось ей как следствие многочисленных переносов наименования. Слово *болѣзнь*, например, в древнерусском языке значило „недуг“ и в то же время „душевная мука, печаль“ (ср. современные значения: *болеть* о ком-нибудь или за кого-нибудь — „переживать“, *соболезновать* — „сочувствовать“). Именно наличие у слова *болѣзнь* значения „душевная мука“ позволило антонимически противопоставить его душевному покою, безмятежности в следующем контексте: в толици сый слава и чести, лежить безгласенъ... приемля за лицу алкине, за питие жажду, за покой *болезнь*, за безпечалие скорбь, за честь безчестие (Н., XI, 212).

Понятийная смежность (физическое недомогание может быть причиной душевных переживаний и наоборот), одинаковая сочетаемость разных лексико-семантических вариантов многозначного слова затрудняют понимание текста, ибо не всегда можно понять, о каком же состоянии — физическом или душевном — идёт речь. Ср.: велими скорбяше в *болѣзни* своєї (Ц.кн., XIII, 410). Иногда уточняющий эпитет помогает разрешить сомнения: в *болѣзнь телесную* впад (Маз., XXXI, 59). Но чаще для снятия многозначности в нашей древней письменности используются синонимические пары, представляющие собой своеобразный тематический контекст. Так, сочетания *болѣзнь и печаль*, *болѣзнь и скорбь*, *болѣзновати и плакати* передают душевное состояние, а пара *болѣзнь и недугъ* — физическую немощь, хворь. Ср.: и бысть же князь великий въ *скорби* и *болѣзни* велицей (Ц.кн., XIII, 410); и *болѣзни* и *печали* сокрушиша мя (Н., XII, 11); и тако различными *недузи* и *болѣзни* умножишася (Н., XII, 12).

В данном случае объединение слов в пару продиктовано стремлением взаимно ограничить смысл слов, хотя одновременно может быть достигнуто и усиление значения. Ср. хотя бы следующий экспрессивный контекст: и печаль *многа* и *болѣзнь зла* обят сердце мое (Лет.нач.ц., XXIX, 77).

Таким образом, синонимическая пара либо усиливает передаваемое значение, либо ограничивает, уточняет его, совмещая порой обе эти функции. Назначение синонимической пары тесно связано с логико-понятийной ее

отнесенностью. Если называемое сочетанием синонимов понятие в достаточной мере узко и определено, то речь, видимо, уже не может идти о степени проявления существенного признака (как это часто наблюдается у синонимических пар — оценочных прилагательных, абстрактных существительных и глаголов, называющих отвлеченные действия). Чем меньше признаков составляет называемое понятие и чем меньше вариаций допускается в количестве данных признаков без качественного изменения данного понятия в иное, тем с большим основанием можно предполагать, что синонимическая пара выполняет не экспрессивную функцию.

Так, о высшей мере присутствия обозначаемого признака свидетельствуют синонимические пары типа *широкаа и пространаа* (Н., XI, 130), *узкыи и тесныи* (Ип., II, 531), *долголетен и старъ* (Н., IX, 113), *преветхъ и престаръ* (Там же, 11), *силныи и крѣпкыи* (М., XXV, 135); *крѣпкыи и твердыи* (М., XXV, 203), *сквернеъ и мерзокъ* (Н., IX, 148), *сверѣпешыи и лютъыи* (Н., XI, 74) и т. д. Однако что может выразить пара со значением „северный“ или „красный“? См. примеры: благословил естъ праотецъ нашъ Нои прадеда нашего Афета частию земли западнаго всего и *севернаго и полунощнаго ветров* (Маз., XXXI, 11); сугуба одѣнья створи мужю своему. *очервѣлена и багъряна себѣ одѣнья* (Ип., II, 68).

Парное наименование войска — *рать и сила* призвано передать его мощь, многочисленность. Видимо, не случайно татары, обращаясь к русскому князю, именуют свое войско *ратью и силою*, а войско князя просто *силою*: княжение есмь тобѣ дали великое и давали ти есмь *рать и силу* посадити тя на великомѣ княжении, и ты *рати и силы* нашиа не взялъ, а реклъ еси своею *силою* сѣсти на великомѣ княжении (Н., XI, 15).

Поскольку понятие „войско“ достаточно конкретно, то сочетание *сила и рать* может выражать не только высшую меру проявления существенного признака (в нашем случае — многочисленность, мощь войска), но также и множественность объектов, поддающихся исчислению. Так, о сводном русском войске, участвовавшем в Донской битве, летописец говорит: бѣаше *всѣх силъ и всѣх ратей* числом с полтораста тысячъ или з двести тысячъ (Ник., XXVII, 72). Ср. аналогичные примеры, где двойная номинация способствует передаче множества вещей: *предѣлы и межы* утвердить нерушыми и непретворимы (Н., X, 230); а яже *поминковъ и даровъ* никтоже можетъ рещи или изчислити (Н., XI, 40). Но субстантивные пары с существительными в единственном числе, обозначающими конкретные реалии, не допускают подобного толкования: *вложиша и в гробъ и в раку* мраморену (1493, XXVII, 219); а *земля та и страна* всем нужна и невесела и нездрава (Маз., XXXI, 120).

То же самое можно сказать и о глаголе. Так, если пара *не покосѣти ни умедлити* (Н., XII, 207) передает отрицание какой бы то ни было формы проявления этого отвлеченного действия, обладающего мерой⁸, то нелегко установить, какие функции может выполнять сочетание синонимов *написати и изобразити*: на ней же [запоне. — Б.С.] бѣше *написан и изображен* судъ божий страшный (Маз., XXXI, 43).

⁸ В данном случае, видимо, не существенно, что пара состоит из старославянизма *покосѣти* и исконно русского *умедлити* — ср. равнозначную пару *не замедлити ни помочати* (Н., XIII, 62), состоящую из восточнославянских элементов.

Видимо, во всех подобных случаях, когда называемые понятия не обладают мерой, следует обратить внимание на языковые качества составляющих пару компонентов, на место сочетающихся равнозначных единиц в лексико-семантической системе. Так, в летописях нередко встречаем тавтологическую передачу временных понятий: *в сна бо времена, и въ лѣта сна* ключися нѣкоему Новгороду приити въ Чюдь (Н., IX, 98); *а въ то время и въ тои часѣ* изыде челоуѣкъ на поле (Н., XI, 193); *в лѣта и во дни* Давыда царя бысть сие (М., XXV, 284). Ср. также двойную номинацию временных понятий, не представляющую собой синонимической пары (лексемы стоят в разных падежах), но весьма характерную для летописного стиля: того же году в та лѣта (Маз., XXXI, 23); того же году, в та времена (Там же, 20) и т.д.

Подобная передача временных понятий, несомненно, вызвана несовершенством временной терминологии древнерусского языка. Так, слова *годъ* и *часъ* означали и просто „пора“, „время“ и определенный отрезок времени. Ср. вышеприведенные примеры со следующим употреблением слова *годъ*: *а бо былъ въ обед год* (М., XXV, 113). Слово *лѣто* обозначало и определенный сезон и цикл из четырех сезонов, однако и в этих значениях оно имело очень неустойчивое употребление, ибо начало года — *лѣта* — было у славян-язычников весьма неопределенным, зависящим от фенологических и прочих условий⁹.

Развитие временной терминологии, устранение противоречий в семантике отдельных терминов (*часъ* — время вообще и единица исчисления времени, *лѣто* — сезон и годичный цикл), ограничение их и взаимоуточнение по закону распределения М. Бреала — процесс весьма длительный. Так, „уточнение значения и окончательное закрепление таких терминов, как *годъ* и *часъ*, только за определенными отрезками времени относится к начальному периоду формирования национального русского языка, примерно к XVI в., и является плодом культурного развития русского народа“¹⁰.

Дублированная передача временных понятий в летописном стиле и была вызвана, очевидно, с одной стороны, неопределенностью временных терминов в древнерусском и старорусском языках, а с другой — необходимостью указать точное время действия того или иного события при хроникальном изложении. Так, употребление обоих терминов *годъ* и *лѣто* говорило о том, что имеется в виду годичный цикл, а не сезон (неактуализированное значение слова *лѣто*) и не время вообще, пора (потенциальные значения слова *годъ*).

Подобному же уточнению подвергаются и слова с очень широким семантическим объемом и, соответственно, малой информативностью. В древнерусском языке с его тяготением к полисемии ряд слов (как правило, это

⁹ См. об этом: Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей). — „Уч. зап. ЛГПИ им. А. Герцена“, 1949, т. 80, с. 111.

¹⁰ Черных П. Я. Очерки русской исторической лексикологии. Изд-во МГУ, 1956, с. 137; В. В. Степанова, однако, убедительно доказывает, что „вплоть до XVII в. живут в языке отголоски былых значений слова „год“, его способность выражать время вообще, неопределенный или более ограниченный его отрезок, в том числе и меньше года“. См. ее: Некоторые вопросы исследования лексической синонимии в древнерусском языке. — „Уч. зап. ЛГПИ им. А. Герцена“, 1963, т. 248, с. 117. Ср. также употребление слова *время* в значении „год“ в памятнике XVII в.: *Имяше во утробъ своей нечистыя духи и носи ихъ время и полъ времени, ркше полтора годы.* (Ж. Прок. Уст., 154).

очень употребительные лексемы: *дѣло, вещь, земля, мѣсто* и т.п.) приобрел такое количество близких и взаимопроникающих, порой синкретичных значений, что семантика этих слов стала весьма неопределенной, расплывчатой. О подобных лексических единицах писал еще Н. Крушевский: „Что должно случиться с самим словом при таком непомерном расширении его значения? Закон обратного отношения между объемом и содержанием должен и здесь проявить свою силу: чем шире употребление данного слова, тем менее содержания оно будет заключать в себе“¹¹. Информативная ценность таких слов повышалась в древнерусском языке опять-таки речевыми средствами: включением их в синонимическую пару с компонентами более специализированного значения.

Так, следует предполагать, что пары *земля и страна* (Маз., XXXI, 120), *земля и нива* (Л., I, 58) обязаны своим появлением семантической насыщенности слова *земля* (см. Срезн., I, 972–975) и более узкому, конкретному значению вторых компонентов пар.

Широта и, следственно, неопределенность значения отличала и древнерусское слово *мѣсто*¹², которое могло означать „место“, „поле“, „площадь“, „селение“, а также имело ряд других значений (см. Срезн., II, 245–248). И. И. Срезневский отмечает, что отдельное жилище, без отнесенности к числу дворов, со всем, что к нему принадлежало, называлось *село*. Поселения более важные именовались *мѣста* и *погосты*. „Не один раз, — заключает он, — находим в наших древних сказаниях *мѣсто* в смысле особенного сельбища“¹³. Однако какое же поселение — городского или сельского типа — обозначалось словом *мѣсто*? Многочисленные примеры употребления интересующего нас слова даже в древнейших летописях допускают двоякое истолкование. Ср.: и ныи църкви ставляше по градомъ и по *мѣстомъ* (Л., I, 153, под 6545 г.); и нѣсть *мѣста* ни вси ни сель тацех рѣдко. идеже [татары — Б.С.] не воеваша на Суждальской земли (Там же, 464, под 6745 г.). В первом примере слово *мѣсто* стоит в линейном ряду со словом, обозначающим городской населенный пункт, во втором — с двумя синонимами, называющими сельское поселение, однако в обоих случаях речь может идти как о дублировании названий, так и о противопоставлении называемых понятий. И. И. Срезневский в своем словаре в примере, аналогичном нашему второму, толкует слово *мѣсто* как „город“¹⁴.

¹¹ Крушевский Н. Очерк науки о языке. Казань, 1883, с. 141.

¹² Т. Ф. Навдикова пишет об употреблении этого слова в „Хождени игумена Даниила“ в роли своеобразного „местоимения“, которое служит Даниилу общим заменителем известных и неизвестных ему наименований местности“ (См.: Навдикова Т. Ф. Общеупотребительная лексика в Хождени игумена Даниила. — Уч. зап. Благовещенского пед. ин-та“, 1957, т. VIII, с. 211).

¹³ Срезневский И. И. Чтения о древних русских летописях. Зап. имп. АН. Приложение ко II т., с. 34–35.

¹⁴ Мнози бо вси имуть и мѣста и села. Златоустр. XII в. (Срезн., II, 246). Пример Срезневского интересен тем, что слово *мѣсто* вклинивается между лексемами со значением „село“ и является, как нам кажется, членом того же синонимического ряда. Первоначально словом *городъ*, видимо, могло обозначаться любое укрепленное, огражденное поселение вне зависимости от его экономического статуса. См. об этом: Воронин Н. Н. Поселение. — В кн.: История культуры Древней Руси. Домонгольский период, т. I. Материальная культура. М.—Л., 1951, с. 187.

Встречаем в летописях и семантическое противопоставление лексем *мѣсто* и *городъ*: [Болеслав. — Б.С.] *въѣха въ мѣсто, а в городъ нелзѣ бысть въѣхати ратными. зане боряху крѣпко из него пороки и самострелы* (Ип., II, 934, под 6798 г.). Жители *мѣста* именуются *мѣстичи* в отличие от жителей *города* — *горожан*: *мѣстичѣ же не бяхоуся. по Болеславѣ с горожаны. но рекоша. кто сядеть княжити во Краковѣ то нашъ князь* (Там же). Как видим, *мѣстом* называется часть населенного пункта, расположенная вне крепостной стены (пригород, предместье), чаще называемая древнерусским словом *посадъ*.

В Никоновской летописи воевода Батя, осматривая Киев и дивясь его красоте и величию, говорит, сожалея о предстоящем разрушении города: *покорилися бы ему [Батыю — Б.С.], и не бы разоренъ былъ градъ сей и мѣсто сие* (Н., X, под 6748 г.). Таким образом, Киев одновременно называется *городом* и *мѣстом*.

Подобный разнобой в употреблении слова *мѣсто* в древнерусском языке (даже в применении к вещественным реалиям — „поселение сельского типа“, „предместье“, „город“) нельзя объяснить просто семантической историей данного слова, прошедшего обычный для целого ряда лексем путь развития от названия места, участка земли, до наименования поселения¹⁵. Однако эта сходная в целом семантическая эволюция слова получила своеобразное преломление как по разным славянским языкам (см. Фасм., II, 607–608), так и в отдельных говорах одного, в частности русского, языка.

Одна и та же понятийная область полностью покрывается соответствующей ей лексической сферой во всех диалектах, однако внутри этой сферы действительность может члениться по-разному, соответствия между означаемым и означающим (даже общим для всех говоров) будут специфическими в данном диалекте, ибо отношения между лексическими единицами носят системный характер и обусловлены, в конечном счете, общественными условиями существования данного языкового коллектива.

Именно системным характером лексики можно объяснить различие семантических судеб слова *мѣсто* в северных и юго-западных диалектах Древней Руси. „На юге термин *городъ* обозначал не только городское поселение, но и городскую крепость, в связи с чем место слова *городъ* постепенно начинает занимать термин *мѣсто*, тогда как на севере процесс развития пошел по-иному: *городъ* закрепляет за собой позиции термина, обозначающего городское поселение, поскольку для крепости существовало особое наименование (дѣтиньць, кромь, кремль)“¹⁶.

Особенность древнерусского литературного языка состояла в том, что он, в отличие от современного литературного языка, представлял собой письменную разновидность языка местного. Об этом в свое время писал А. А. Потебня: „Исследователь должен помнить, что с первых памятников письменности он имеет дело с образцами не всего русского языка, а лишь некоторых

¹⁵ Такова же в общих чертах схема развития семантики слов *село* и *деревня*. См.: Деягян В. Я. К истории слов *село* и *деревня* в русском языке. — В кн.: Проблемы истории и диалектологии восточнославянских языков. Сб. ст. к 70-летию В. И. Борковского. М., 1971.

¹⁶ Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка..., с. 170.

его частей¹⁷. Данный тезис не подвергают сомнению и советские языковеды. Ср. категоричное высказывание Г. О. Винокура: „Язык древнерусской письменности, какими бы стилистическими приметам он ни отличался, это в принципе язык диалектный“¹⁸.

При изучении языка летописей следует учитывать также то немаловажное обстоятельство, что летописный текст, созданный на одной территории, подвергался многочисленным переписываниям и переработкам в разное время и в разных местах. Позднейшие летописцы старались донести до читателя не только содержание древнейших оригиналов, но и способ передачи летописных статей. „Севернорусский писец, списывая с южнорусского оригинала, часто сохранял в своем списке южнорусские особенности подлинника; южнорусский писец, в свою очередь, сохранял севернорусские особенности, внося вместе с тем и свои местные и т.д., отсюда смешение в одной и той же рукописи различных данных и иногда невозможность разобраться в них.“¹⁹.

Особенно бережно писцы и составители относились к лексике — наиболее важному элементу речевого контекста, сообщаемому ему определенный местный и временной колорит. Однако, сохраняя узкий локализм оригинала, инодиалектный переписчик или составитель должен был позаботиться, чтобы текст был понятен и носителям его говора — потенциальным читателям составляемого свода, ибо летописи играли немаловажную роль в общественной жизни русского государства, являясь источником сведений по истории, юрисдикции, генеалогии и т.д., а не просто занимательным чтением.

Появление в языке летописей синонимических пар с конкретным вещественным значением, где один из компонентов является диалектизмом, а второй — слово общенародное (или же оба слова характеризуются разнодиалектной принадлежностью), видимо, и следует объяснить стремлением переписчика или редактора, с одной стороны, сохранить лексику источника, а с другой — пояснить малопонятный лексический элемент общерусским или местным эквивалентом.

Так, составитель Никоновской летописи, почерпнув, вероятно, сведения о захвате Киева Батыем из каких-то южнорусских летописей²⁰, сохранил местное наименование города — *мѣсто*, употребив в то же время и его общерусский синоним — слово *городъ*, обеспечив таким образом верное восприятие семантического диалектизма.

Однако не только позднейшие редакторы и переписчики общерусских сводов применяли семантические эквиваленты общенародного распространения как своеобразные глоссы локализмов — авторы областных летописцев

¹⁷ Потехня А. А. К истории звуков русского языка, ч. I. Воронеж, 1873, с. 3.

¹⁸ Винокур Г. О. Русский язык. Л., 1945, с. 105. О диалектном характере древнерусского литературного языка см. также: Виноградов В. В. Основные вопросы и задачи изучения истории русского языка до XVIII в. — ВЯ, 1969, № 6, с. 18; Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка..., с. 226; Мжельская О. С. Диалектизмы в языке средневековой письменности. — В сб.: Из истории слов и словарей. Изд-во ЛГУ, 1963, с. 120 и след.

¹⁹ Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. М., 1903, с. 11.

²⁰ „По своему составу основная часть Никоновской летописи (до 1520 г. включительно) представляет собой грандиозную компиляцию, в которую включены источники, характер и происхождение которых еще до сих пор не совсем изучены“ (Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., 1947, с. 478).

также нередко употребляли местные слова в паре с их общерусскими синонимами. Так, в Великом Новгороде внутренняя городская крепость, княжеский укрепленный замок назывался *дѣтиньць*, на северо-востоке Руси — *кремль*, *кремленикъ*, *кремникъ*, тогда как на юге, как уже отмечалось, для обозначения соответствующего понятия употреблялось общеславянское по происхождению слово *городъ* (*градъ*). Слово *городъ* в данном значении, не будучи одинаково употребительным во всех районах страны, тем не менее было хорошо известно и понятно на всей великорусской территории. Местные летописцы, называя собственную городскую крепость привычным для них термином, очень часто одновременно употребляют и общерусское слово. Ср. в Новгородской третьей летописи: Совершены быша двѣ церкви каменныя въ Великомъ Новѣградѣ... *в дѣтиньць* (Новг.-3, III, 249, под 7045 г.); постави церковь каменную, *въ Каменномъ городѣ* (Там же, под 7048 г.); поставиша церковь древяну... *въ Каменномъ градѣ дѣтиньць* (Там же, 248, под 7039 г.); а стояла [церковь — Б. С.]... *до Каменного дѣтинца града* строения (Там же, 208, под 6497 г.).

Если в Новгородских летописях пара *градъ-дѣтиньць* употребляется обычно без союза, то под рукой переписчика бессознательное сочетание часто трансформируется в более привычную для древнерусской письменности синонимическую пару с союзом *и*. Ср. сообщение о пожаре в Новгороде под 6877 г. (в Новгородских летописях оно помещено под 6876 г.): В лѣто 6876, мѣсяца маиа въ 12... пожаръ золъ бысть въ Новѣгородѣ: погорѣ *городъ дѣтиньць* весь, и владыченъ дворъ (Новг.-1, III, 89); Мая 12 бысть пожаръ великъ в Новѣгородѣ, погорѣ *город и детиньць* и владычн дворъ (М., XXV, 185; Воскр., VIII, 16).

Северо-восточное *кремль* и родственные ему образования также соединялись с общерусским *городъ* (*градъ*). Ср. сообщение летописцев под 6825 г.: поиде вь свою отчину во тверь, и заложи болюшй *градъ кремль* (Тверск. сб., XV, 409); *градъ кремникъ* (Рог., XV, вып. I, 37); *градъ кремленикъ* (Н., X, 180).

Названия местных предметов материальной культуры, вещей бытового назначения, одежды и обуви представляют собой, как правило, этнографические диалектизмы, и точных соответствий в общепринятом языке (и иных диалектах) не имеют. Однако, употребляя подобный локализм, летописцы нередко „спаривают“ его с ближайшим по значению общеизвестным термином. Так, рядом с южнорусским *прабошьнь* — „род обуви“ стоит его общерусский аналог „*черевие*“: сѣтояше. *въ прабошняхъ. въ черевыхъ* и въ протоптанныхъ (Ип., II, 186, под 6582 г.). То же находим в Лаврентьевской летописи (Л., I, 195). В Радзивиловской летописи — *в ултых ботех* (Радз., л. 112). В Никоновской летописи южнорусский диалектизм заменен севернорусским со сходным значением: стояше *въ поръшньяхъ* въ протоптанныхъ (Н., IX, 106).

Неодинаковой употребительностью в разных говорах древнерусского языка характеризовались также севернорусское *корста* (вероятно, финское заимствование через посредство прибалтийских племен), *рака* (от лат. *arca*) и общерусское *гробъ*. Так, в Лаврентьевской летописи под 6523 г. читаем: и вложиша и в *корсту* мороморяну (Л., I, 130). В Ипатьевской: и вложиша и *въ гробѣ* мраморяни (Ип., II, 115). Прочие летописи употребляют либо

нейтральное общерусское *гробъ*, либо приобретшее окраску возвышенного (вместилище мощей святых, праха особо выдающихся личностей) слово *рака*. В летописном же своде 1493 г. понятие „гроб“ передают оба термина сразу: И вложиша и *въ гробъ* и в *раку* мораморену (1493, XXVII, 219). Возможно, составитель свода, имея под рукой разные списки, где были представлены как разночтения оба слова, желая сохранить лексику оригинала, объединил равнозначные лексемы, что не противоречило законам семантической и синтаксической сочетаемости языка того времени.

Вернемся теперь к ставшему объектом дискуссии сочетанию *по бѣлѣ и въверицѣ*, представляющему, на наш взгляд, подобное же образование. *Бѣла* и *въверица*, равно как *бѣла* и *въкшица*, называют один предмет (шкурку белки либо ее меновой эквивалент) сразу двумя терминами, различными по времени появления и активности употребления в языке. Общеславянское *въверица* (см. Фасм., I, 282), севернорусское диалектное *въкшица* (*въкшица*)²¹ и восточнославянский семантический неологизм *бѣла* (*бѣлка*)²² были, видимо, известны на всей территории Древней Руси, но в разных ее районах преимущественно употреблялся один из синонимов²³. Возможно, в данных парах общерусское *бѣла* поясняет локально ограниченные слова, но можно предположить также, что в ранних списках „Повести“ местные, привычные слова поясняли, конкретизировали значение нового термина *бѣла*²⁴. Интересно в данном отношении показание Никоновской летописи, где говорится: *Имаху дань Варязи... отъ мужа по бѣлѣ и въверици. А Казари имаху дань... по бѣлѣ, рекше по въкше, съ дыма* (Н., IX, 8). Составитель Никоновской летописи воспринял интересующее нас сочетание как глоссический оборот, передав его в первом случае без изменения, а во втором оформив как пояснение с вводным словом *рекше*.

Отсутствие элементарных сведений о времени появления отдельных слов в языке и степени распространенности их в диалектах, не говоря уже о трудностях определения границ стилистического применения слов в древнерусском языке, не позволяет в ряде случаев достоверно решить вопрос о целесообразности парного употребления равнозначных слов конкретной семантики. Однако сам факт возможности подобного употребления лексем в русском литературном языке в минувшие эпохи его исторического развития сомнению не подлежит и не должен игнорироваться исследователями.

Сокращения

- Ал.-Н. — Александро-Невская летопись. — ПСРЛ, т. XXIX. М., 1965.
Вл. — Владимирский летописец. — ПСРЛ, т. XXX. М., 1965.
Воскр. — Летопись по Воскресенскому списку. — ПСРЛ, т. VII. СПб., 1856.
Ж.Прок.Уст. — Житие преподобного Прокопия Устюжского. СПб., 1893.

²¹ Историю слова *векшиа* см.: Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков, с. 560.

²² Его же. Образование языка восточных славян. М.—Л., 1962, с. 281.

²³ Данные об употребительности всех трех наименований в древнерусской письменности приводит в своей статье Н. В. Чурмаева. См. указ. соч., с. 230—231.

²⁴ Первоначально словом *бѣла* могли, вероятно, обозначаться различные зверьки (или их шкурки) со светлой окраской меха, и лишь позже термин закрепился именно за белкой в силу большей ее распространенности.

- Зол. — Золотаревский летописец. — ПСРЛ, т. XXXI, М., 1968.
- Ип. — Ипатьевская летопись. — ПСРЛ, т. II, М., 1962.
- Л. — Лаврентьевская летопись по Академическому списку. — ПСРЛ, т. I, М., 1962.
- Леб. — Лебедевская летопись. — ПСРЛ, т. XXIX, М., 1965.
- Лет.нач.ц. — Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. — ПСРЛ, т. XXIX, М., 1965.
- М. — Московский летописный свод конца XV в. — ПСРЛ, т. XXV, М.—Л., 1949.
- Маз. — Мазуринский летописец. — ПСРЛ, т. XXXI, М., 1968.
- Н. — Патриаршая, или Никоновская, летопись. — ПСРЛ, т. IX—XIII, М., 1965.
- Ник. — Никаноровская летопись. — ПСРЛ, т. XXVII, М.—Л., 1962.
- Новг.-1 — Новгородская первая летопись. — ПСРЛ, т. III, СПб., 1841.
- Новг.-3 — Новгородская третья летопись. — Там же.
- Пск.-1 — Псковская первая летопись. — ПСРЛ, т. IV, СПб., 1848.
- Радз. — Радзивилловская, или Кенигсбергская, летопись. Фотомеханическое воспроизведение рукописи. СПб., 1902.
- Рог. — Рогожский летописец. — ПСРЛ, т. XV, М., 1965.
- Соф.-1 — Софийская первая летопись. — ПСРЛ, т. V, СПб., 1851.
- Срезн. — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I—III, СПб., 1893—1912.
- Тверск. сб. — Тверской сборник. ПСРЛ, т. XV, М., 1965.
- Фасм. — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV, М., 1964—1973.
- Ц.кн. — Так называемая Царственная книга по списку Московской синодальной библиотеки № 149. — ПСРЛ, т. XIII, СПб., 1904.
- 1493 — Сокращенный летописный свод 1493 г. ПСРЛ, т. XXVII, М.—Л., 1962.
- 1497 — Летописный свод 1497 г. — ПСРЛ, т. XXVIII, М.—Л., 1963.
- 1518 — Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись). — Там же.
- 1619 — Летописец 1619—1691 гг. — ПСРЛ, т. XXXI, М., 1968.

A COIN OR A SQUIRREL?

(A possible interpretation of an ambiguous place in the Russian chronicle
"A Story of Bygone Years")

B. SINOCHKINA

Summary

The present paper gives a possible interpretation of the annals' phrase *побѣлъ и въвѣрицѣ* meaning a size of the ancient tribute.

Owing to the omission of intervals between words in old Russian manuscripts this expression can be understood in two ways: *по бѣлъ и въвѣрицѣ* — conventional translation "a silver coin and a squirrel's hide" or *по бѣлѣи въвѣрицѣ* — "a squirrel's white (winter) hide".

The author of the paper is of an opinion that the first segmentation of the phrase is more plausible from a linguistic viewpoint but considers the collocation a synonymous pair where both the word *бѣла* and the one *въвѣрица* denote by different terms the same object — squirrel's hide.